

Пролог

Он всё для нее делал, а она сучка.

Они орут друг на друга посреди Казанского вокзала, и она, видимо, говорит что-то мерзкое и неправильное, поэтому он даже не дожидается, пока она зайдет в вагон и найдет свое место. Он уходит по перрону обиженным шагом, не оборачивается, хотя раньше всегда дожидался проводницу, чтобы она обязательно сказала — *проводяющие, выходим*. Без этих слов муж как будто не имел права оставлять ее одну.

«Ты бы лучше к живым ревновал» — вот что сказала, сказала своему мужу Льву, который был с ней, вернул, спас. Волосы держал, когда от таблеток рвало, потом обнимал, когда знобило. И просто так обнимал. Всё делал, а она...

Аля даже пыталась объяснить, что нарочно никому, кроме него, о поездке в Самару не рассказала, потому что это не так важно, просто надо кое-что проверить. Она ненадолго, на несколько дней, а потом вернется, это Лев точно должен был понять.

Проводница заглядывает, торопливо перечисляет правила поведения в поезде, потом смотрит с жалостью, приносит кофе, и Аля уже представляет, как ложечка будет всю ночь звенеть о стекло.

— Скажите, я одна буду? — Аля спрашивает, с детства любила знать, радовалась, когда оказывалась одна в купе.

Проводница говорит, что узнает, но не возвращается. В купе быстро становится душно, и она снимает толстовку, оставшись в белой маечке на тонких бретельках, потом ложится и укрывается влажноватым пододеяльником.

Болит что-то на скуле. Она трогает рукой, намеренно сильно прижимая пальцы, чтобы почувствовать. Синяк? «Это что, это кто меня?» — смазывается мысль, летит. Что-то стучит в сердце и ниже сердца, отдается. Тук-тук, стук-стук. Это что? Она пробует не обращать внимания. Гладит синяк снова, не стирая, проявляя. Болит еще сильнее. «Так мне и надо, — она думает. — Так мне — еще и еще. Я заслужила. Стук-стук. Тук-тук».

Ведь это не муж, муж ее никогда не бил, только жалел. Даже смешно представлять — кто, Лёва, с его кудрявыми волосами, ласковыми руками с короткими пальцами? Он не мог, но всё явственнее в темноте под закрытыми веками представляется тот, кто *мог*. Извинился потом, конечно, в сущности, она была сама виновата, это она кричала, что раз у них никогда не будет детей, то нет смысла дальше жить вместе. Расстались они не из-за этого.

Сон быстро приходит, сминает в голове все мысли.

Аля открывает глаза в разбавленной неяркой лампочкой темноте. Ложечка лежит на столе рядом со стаканом, в котором вечером проводница принесла ей кофе. Когда успела вытащить, помнится же отчетливо звон, который стоял здесь всю ночь?

Тук-тук.

Проводница стучит в двери купе, приоткрывает — полоска света отсекает нижнюю полку Али, высвечивает

синие полоски на обнажившемся матрасе. Мелькают красные волосы проводницы, ее брови как будто нарисованные перманентным маркером с голубоватым отливом. Уж у нее-то точно никогда не размажется косметика, даже если проводница разревется, как Аля во сне.

«Ну что же вы не вернулись, — думает Аля, — что же вы мне вчера не сказали?»

— Уважаемые пассажиры, просыпайтесь, через полчаса Самара.

Аля садится, трогает лицо — под глазами засохшие дорожки слёз, а веки опухли и покраснели. Проводница почему-то не уходит, ждет. Что-то еще нужно?

— А, вам же за кофе нужно деньги отдать, — вспоминает, — сколько там нужно?

— Да тут уже что, — проводница отмахивается, — нисколько.

Она сразу же уходит, но странно всё же — будто что-то сказать хотела, а не решилась. И почему — «тут уже что?».

В туалете смотрится в зеркало — никаких синяков, нечего было даже и проверять. Это всего лишь сон, кошмар. Наверное, проснулась, всхлипывая, хорошо еще, что в купе никого не было. Да и сейчас возле туалета никого, как будто проводница говорила слишком тихо и никого не разбудила, кроме нее.

Все в поезде будто под большой дозой кветиапина — не могут проснуться, тяжело чувствуют свои тела. У нее такое было, когда только принимать начала: тело привыкало, не могла проснуться до трех часов дня, никакая проводница не разбудила бы.

Когда она идет обратно, по-прежнему никого не видно, а все двери в купе закрыты.

Когда она возвращается, за окном уже показывается большая Волга, очистившаяся ото льда, и привязанные лодочки — раньше, когда она просто ездила в гости к Славе, ей всё время хотелось ненадолго выйти из поезда здесь, посмотреть, как река может быть такой огромной, что за травы с узкими длинными стеблями и желтыми пушистыми головками растут на ее берегах, как спят лодочки, какими веревками они привязаны к деревянным причалам. Какие ласточки-береговушки летят в сумерках над водой, охотясь на мошек и комаров.

А в городе совсем другие ласточки.

Она впивается ногтями в запястье, чтобы не думать о них. Ласточки вечно летали над их со Славой балконом по вечерам, когда солнце смотрело в Волгу, ловили насекомых, кричали. На балконе зачем-то был устроен большой металлический шкаф с отверстием сверху — почему-то ласточки всё время сбивались с пути и попадали в этот шкаф, так что ей приходилось каждый вечер проверять и выпускать тех, что попались. А однажды они со Славой куда-то уехали на несколько дней, а по возвращении нашли в шкафу мертвую ласточку. Аля тогда плакала несколько дней.

Вчера днем она зашла на сайт РЖД и купила билет — только туда, она всегда так делала, не хотела сразу думать о том, как станет *возвращаться*. Вчера же и мужу сказала, но он вначале как будто не понял зачем и даже вызвался проводить ее на Казанский. И уже там они не понимали, кричали друг на друга, хотя Лев плохо умеет кричать. Аля даже проверяет телефон — нет, ничего, ни словечка. Обиделся? Ладно, пусть. Через пару дней она вернется, и они помирятся.

А позавчера Слава написал ей: «Увидимся?», и это радостно, и легко, и так в его стиле, без предисловий и всех этих *здравствуй*, ничего не значащих и не стоящих.

Но только Слава ее мертв уже четыре года.

Он

Мама потом говорила, что я убил свою *первую* маму, но только это неправда. Я мало первую маму помню, только ее волосы, как она надо мной наклонялась и пахла огнем, но вначале просто собой, волосами. Это была осень, о которой мне почему-то с самого начала рассказывали, как какому-то дурачку. У нас в школе были тетрадки, в которых мы должны были описывать *окружающий мир* и рисовать его. Там на одной картинке было пустое небо, пустые клонящиеся ветки. Я закрасил всё рыжим-рыжим, желтым, одинаковым, потому что ветки и листья, которые сгорают в больших железных ящиках, похожи на мамины волосы. Я знал, что на самом деле сами ветви черные, а небо серое или синее, просто не было никакого смысла объяснять, почему я захотел сделать иначе. К тому же на небо я глядел редко, а на мамины волосы — каждый день. Одноклассники нарисовали как надо, никто не ошибся, но это значило только, что они ни о чем не *думали* по-настоящему.

Я же думал о маме, о листьях в железных ящиках — обо всем, чему суждено сгореть.

Потом ее вызвала учительница, посадила напротив себя и говорила, а мама молчала. Учительница

рассказала кое-что еще, о чем я не сообщил сам, хотя мог бы. Она рассказала маме о том, что после того, как одноклассники стали смеяться над моим рисунком, я взял остро заточенный простой карандаш и воткнул его девочке в руку. Не потому, что она смеялась громче всех или была мне как-то неприятна, нет. Она просто была рядом, и рука ее была самая тонкая, прозрачная. Я подумал, что воткну очень глубоко и ей будет по-настоящему больно. Услышал только хруст — странный, хороший, *приятный*.

Но она только неслышно выдохнула, вздрогнула и осталась стоять возле моей парты. Потом пошла и молча показала руку учительнице, уже с тонкой каемкой крови вокруг.

Вот тогда все и заголосили.

Потом, весь месяц, пока я не перешел из этой школы в другую, мне очень нравилось смотреть на руку девочки. Она боялась. А на руке осталось серо-черное пятнышко, оно с ней теперь навсегда будет. Мне нравилось представлять это *навсегда*, оставшееся от моих рук.

«Папе не буду говорить, — мрачнеет мама, когда мы идем к нашему деревянному дому. — А то он живого места на тебе не оставит. И хочется, чтобы неповадно было, а все равно жалко».

Но только я думаю, что ей не было меня жалко.

Глава 1

Чёрный

Из поезда выходит одна, не оглядывается на вокзал, объясняет себе, что просто вышла первая, а остальные сейчас выйдут тоже, пойдут к остановке автобуса или стоянке такси.

Она почему-то мчится сразу на Ленинградку, а не к их бывшему дому — успокоиться, что ли, поездную муть сбросить. На перроне мысленно пообещала себе, что не будет всматриваться в лица встречающих, надеясь разглядеть того, кто ей писал: «Правда, на фиг тебе это случилось, Аленька, ты что, окончательно кукухой поехать хочешь?»

Раньше Слава встречал. Всегда, после каждой поездки, а если написал сейчас, то ведь тоже должен встретить? «Господи, и ведь бред-то какой. Бред, бред, бред».

«Нужно не думать о всяком, нужно написать Льву». Аля даже достает телефон, а потом вспоминает — они же поссорились и он ушел. Не написал ни словечка, хотя она ждала утром. «Не буду писать. Вообще всю поездку писать не буду, пусть знает».

Она идет сквозь мутные, немногочисленные улицы. Спотыкается о доски, отвалившиеся, видимо, от черного оконного проема какой-то заброшки. Заброшки были и раньше, вечно что-то стояло такое, рассыпающееся заживо, под зеленой дерюгой и досками, изъеденными гнилью.

На Ленинградке ветер.

На Ленинградке запах. Тяжелый, сладковатый, удушающий, ни из одной пекарни так пахнуть не может, ни из одной кофейни. Она на пробу дергает дверь белоголубой «Белотурки» — конечно, закрыто, но ведь и рано еще. На пыльные витрины она старается не смотреть.

Замерзший музыкант в черных перчатках с обрезанными пальцами-ниточками касается аккордеона, но звук появляется намного позже, с трудом проходя сквозь воздух. Аля никак не привыкнет заново к этому новому холоду — так дует с набережной, с Волжского проспекта, ветер насквозь проходит узкие улицы, перпендикулярные реке. Эти улицы называют здесь *спусками*. Ленинградский спуск, Маяковский спуск. Все они ведут вниз, на набережную, а дальше — в невероятную огромную пустоту Волги, что без единого огонечка, без маячка ночью, потому что местные переправляют на своих катерах на ту сторону нелегально. Поэтому и темнота. Можно, конечно, доехать до Речного вокзала и взять билет на теплоход, но Аля так никогда не делала. Какой смысл сорок минут толкаться на палубе, слушать, как дети громко пьют через трубочки апельсиновый сок? И сейчас бы так поплыла, на катере.

Каждое лето, впрочем, катера сталкиваются. Иногда такое даже в федеральные новости попадало,

но Аля давно не слышала о Самаре никаких новостей. Вернее, они приходили, тревожные, разные, но потом как сказали, что *положение стабилизировалось*, так все и поверили.

И она поверила.

Как отрезало.

Слава жил на новой набережной, в доме-интеграле, так и местные говорили, и все таксисты знали. Но заметно это не сразу, потому что если с земли, от подъездов если смотреть, то самый обыкновенный дом, хоть и длинный, а загибающийся где-то там, далеко, ближе к четвертому подъезду. Она вначале внимания не обращала — а больше на разные яркие цветы на клумбах, какой это был месяц? Месяц, когда она трясущимися руками распихивала по сумкам необходимое, а об остальном не думала. Кажется, сентябрь. Георгины и гортензии.

Аля прячет кисти в рукава куртки, ветер становится невыносимым. Справа еще одно кафе, но название незнакомое, наверное, открыли уже после того, как она уехала, — Аля заглядывает в окна, но они оказываются пустыми и темными. Когда оно успело закрыться? Наверное, ее не было слишком долго. Аля отворачивается от темных окон — кажется, в одно из них кто-то успел попасть камнем, и сеть тоненьких трещин с пауком-дырочкой по центру неприятно царапнула взгляд.

Нарочно, когда шла с вокзала, замечала изменения — так бывает, когда на каникулы возвращаешься в город, из которого уехал учиться. И всё видишь: и вокзал видишь, и достроенную часовню возле вокзала, на которую оглядывалась всё детство. Ее не было четыре года. И даже сейчас, на не согревающейся

никак весенней улице, она вспоминает те георгины и гортензии, к которым выходила всякий раз, когда спускалась с их пятого этажа. Интересно, есть ли они еще? Сейчас, конечно, где-то в земле, не успели появиться. Но это не значит, что цветов нет совсем.

Почему дом был похож на интеграл, кто придумал его так, кто выстроил?

Слава бы наверняка мог рассказать, он понимал в истории, помнил всё про свой город, все мелочи, памятники, исторические названия улиц.

Слава бы объяснил, но четыре года назад он упал с крыши.

Да, всё так и было.

Она выходит на улицу Куйбышева и долго идет вперед, закрываясь руками от ветра. Может быть, и тогда, на крыше, был такой ветер?..

Она подходит к кофейной палатке, которая, кажется, открыта, она такие еще в прошлой жизни здесь замечала — бело-красная, в виде огромного стаканчика с кофе, а там внутри человек, бариста, постучишь ему в окошко, появится лицо. Аля иногда представляла себя сидящей в этом стакане среди улицы, среди ветра.

— Мне большой американо, пожалуйста. Сахар и сливки не нужны.

Там кто-то смеется.

Не отвечает.

Она повторяет просьбу громче.

Бариста продолжает смеяться. Она прислоняется лбом к стеклу — и видит, что там не бариста, там сидит бездомный с шелушащимся красным лицом. Она отшатывается, но его смех еще долго звучит за спиной. Она успевает заметить краем глаза, что вся грудь

бездомного, его бесцветная олимпийка испачкана чем-то темным.

Бормочет что-то. Непонятное. «Какие еще сливки, у тебя чердак потек совсем?» — ей слышится. А может быть, и другое слово. Что было на его груди? На секунду Але кажется, что это кровь — что пробита грудь, будто какая металлическая труба или балка сорвалась, прорвала легкую футболку, впилась в тело. Вначале даже и не больно, просто горячо, не сразу замечаешь, с задержкой боль приходит, как в детстве, когда удареешься локтем об угол стола.

Кровь вытекает, рана пульсирует под пальцами.

Кровь вытекает.

Запах чего-то гниющего, теплого, *мучного* становится явственнее.

Вспомнила о Славе — тогда ведь было много крови, правда? Она особо не видела, ей не дали посмотреть, а Славу на руках нес Троль... Она с силой вонзает ногти в запястье, чтобы не помнить и не думать. Нужно вспомнить, какая маршрутка довезет до их бывшего дома-интеграла, который отныне не их, да и они — не его. Она даже спрашивает на остановке на улице Куйбышева — а какая довезет, потому что она даже улицу забыла. Стоящие на остановке не отвечают.

Она пробует иначе.

— Вы автобуса ждете?

Не отвечают. Она решает просто сесть вместе со всеми, как делала раньше в чужих городах, — куда-то да привезет. Но автобусов нет, останавливается только белая разваленная «газель» без номеров, туда набиваются люди и ни о чем не спрашивают водителя.

— Эй, — ее локтя касается мужчина в лыжной шапочке, — ты к интегралу хотела, запрыгивай.

— Почему нет номеров? И чем так пахнет в городе, неужели вы не...

Она хочет продолжать спрашивать, но мужчина в лыжной шапочке неожиданно закрывает ей рот сухой морщинистой ладонью. Она успевает разглядеть даже грязь под его ногтями — хочется отшатнуться и орать, материться, но почему-то другие пассажиры молчат.

Сидят друг напротив друга и молчат. Никто не кричит водителю — на следующей, останови на следующей. И водитель останавливается на каждой *бывшей* автобусной остановке. Внутри душно и холодно. И почему-то никто не передает деньги за проезд.

Возле дома-интеграла они с мужчиной выходят.

— Вы чего меня трогали? Совсем уже? — Вот здесь-то можно покричать.

— Дура. Ей помогаешь, а она... — Мужчина сплевывает на асфальт, отворачивается. — Ты чего, с дуба рухнула? Это же *белая* маршрутка.

— Вижу, что не зеленая. А это что, дает вам право меня трогать, не пойму?

Мужчина сплевывает еще раз, мотает головой, уходит от остановки — хорошо, что в противоположную сторону, а то бы еще дворами с ним идти. Тьфу. Ей бы лицо помыть чем-нибудь сейчас, рот прополоскать. Аля вытирает губы тыльной стороной ладони, всё еще чувствуя мерзкий привкус чужой кожи.

Дом-интеграл стоит за другим домом, нормальным, что окнами на Ново-Садовую.

Сейчас, весной, на клумбах уже наметились цветы — раньше, чем в Москве. И легкая прошлогодняя темная трава заметна среди них, никуда не денешься. Аля чувствует запах земли. На скамеечке сидит старуха в слишком теплой шубе, закутанная в платок.

— Ты чего здесь?

Аля оглядывается, но больше никого.

— К кому?

Старуха разглядывает ее из-под платка.

— Я жила здесь давно, вот приехала...

Зачем приехала — посмотреть? Поплакать? Но и слёз нет.

— Я тут всю жизнь живу, а тебя не видела.

Аля понимает, что ее наверняка видела раньше, просто всё забылось, расплылось в мареве, она так в больнице и описывала это, когда психолог спрашивал — истаяло, нет больше, вот как будто акварельную краску в море вылили, секундочку она там побыла, а потом пропала.

Но бабки-то обычно всё помнят.

— Нет, а может, и видела я тебя где, так уж и сказать сложно. Волосы отросли, что ли? Беленькая такая ходила?

Она кивает. Она Аля — Аленький цветочек, но совершенно не как из сказки, когда были, например, Розочка и Беяночка. Вернее, она тогда Беяночкой была, которую убили первой.

— А, поняла, ты беленькая та и есть, значит. Та, что с мальчиком жила.

Аля чувствует, что слезы близко. Поднимает голову — там их бывший простой незастекленный

балкон, на котором вечно стояли деревянные старые стулья. Она не выбрасывала — представляла, как однажды весной она всё разберет разом на балконе, чисто отмоет покрашенные, осыпающиеся синей краской доски, вынесет мусор, выметет птичий помет и перышки ласточек, но так ничего и не произошло, а вот и балкон уже не их.

Выйдет ли другой, новый человек на балкон, выметет ли всю смерть, оставшуюся от зимы? Она хочет постоять здесь и дожидаться, когда кто-нибудь выйдет на балкон. Хочет увидеть лицо человека, пускай он не будет похож ни на кого, пускай будет сам по себе, отличающийся, особенный, свой человек.

Вдруг какое-то движение — она отходит назад, подальше от старухи, задирает подбородок и щурится.

Кто-то выходит на их балкон.

У него темные волосы, на нем белая футболка.

Секунду ей кажется, что футболка его покрыта темно-коричневыми пятнышками, пылью, засохшей грязью — будто упал в детстве с велосипеда, а потом поднялся, отряхнулся, потрогал содранную кожу на локтях, волосы за уши заправил, чтобы не мешались, а сам пошел велосипед поднимать. В школе рассказывали про девочку, которую так сбил грузовик, — и Аля представляла себе, как она поднимается там, на небе, трогает ссадины, повисшие лоскуты кожи, смахивает приставшую траву, и землю, и крошки асфальта — и тоже поднимает велосипед, погнутый немного, грязный, но живой.

Как и тот, что сейчас стоит на балконе.

Это Слава.

Она кричит.

Конец ознакомительного фрагмента.

Приобрести книгу можно

в интернет-магазине

«Электронный универс»

e-Univers.ru